Алексей Куликов, боец

Борис Леонтьевич Горбатов

SHOUT
SHARE
IT

- Горбатов Борис Леонтьевич

Горбатов Борис Леонтьевич
Алексей Куликов, боец

Борис Леонтьевич Горбатов
Алексей Куликов, боец
Повесть

В сборник включены произведения советского писателя Бориса Леонтьевича Горбатова (1908 - 1954), рассказывающие о бесстрашии и мужестве советских людей в годы Великой Отечественной войны.

1. АЛЕКСЕЙ КУЛИКОВ ПОБЕЖДАЕТ СМЕРТЬ В СВОЕЙ ДУШЕ

А зовут его Алексей Куликов, и родом он - пензенский, служит бойцом в батальоне старшего лейтенанта Субботина, тут его знают все.

Его призвали в армию в первый день войны, - родня и поплакать не успела. И когда полз эшелон по украинским степям, Куликов все думал о доме и хозяйстве. И была досада на немца: эк, напал не вовремя! И урожай еще не сняли. И все подсчитывал трудодни и сколько теперь трудодней пропало. А война, казалось ему, будет недолгой и нестрашной, вроде осенних сборов приписного состава. Глядел в окно, считал столбы, удивлялся, до чего здесь земля богатая, и все ехал да ехал по советской стране, и не было ей ни конца ни края.

Когда в первый раз попал Алексей Куликов в бой, он не то чтоб струсил, а просто потерялся. Сперва он даже не понял, что происходит, но рядом упал товарищ, и Куликов увидел кровь, расколотый череп, стеклянные глаза...

- Что ж это такое, братцы, - чуть не закричал он, - ведь это ж так просто и меня убить могут? - и, растерянно моргая глазами, осмотрелся вокруг.

А вокруг были дым, и бой, и смерть. Смерть свистела, смерть выла, смерть ухала, смерть падала с воздуха, ползла по земле, и казалось - никуда от нее не уйти, не спрятаться. Ничего не видел теперь Алексей Куликов: ни войны, ни поля, ни товарищей, - только смерть глядела ему в глаза, только смерть он и видел. И на всей земле только и было: я и смерть. Смерть железная, огненная, вездесущая, а я, Алексей Куликов, существо человеческое, с хрупкими костями и мясом. Долго ли кость перебить, ткань порвать, пробить сердце?

И таким беспомощным, жалким, одиноким показался себе Куликов, что он даже заплакал. До жалости был он одинок на этом большом поле, никому до него дела нет, никто не спасет, не

выручит, не поплачет рядом.

И он досадовал на себя, что уродился большим и круглым, уязвимым со всех сторон, и в ячейке окопа ему тесно, и пуле его легко найти. Лежал и дрожал - ждал смерти.

Но бой кончился, а Куликов уцелел. Он сам удивился этому. Все ощупывал себя, все потягивался. Ничего! Ни царапины!

- Ишь ты, - смущенно улыбнулся он.

Он пытался рассказать товарищам про это чудо:

- Вот, понимаешь, история! Ну, чуть-чуть... Кабы она левее пошла - и крышка...

Но товарищи слушали плохо, и тогда опять поскучнел Куликов и подумал: "Не сегодня, так завтра. Все одно должны убить. Мысленное ли дело из такого страха живым выйти?"

Все же во второй бой Алексей Куликов пошел с надеждой: авось опять посчастливится. И опять дышала ему смерть в лицо, и опять он дрожал мелкой, осенней, стыдной дрожью, перебегая поле, втягивал голову в плечи и глаза закрывал, от каждого выстрела вздрагивал, каждому снаряду кланялся и все смерти ждал - хорошо б скорой...

И только одиночества не было теперь.

Оно рассеялось сразу и само собой. Немцы бомбили Алексея Куликова у переправы, а он лежал под деревом, у самой воды, и твердо знал: теперь взаправду конец.

Но вдруг прошелестело, зашумело вокруг: "Наши, наши летят!", - и кто-то рядом вздохнул облегченно и радостно.

Куликов не сразу открыл глаза, а когда открыл, увидел над головой небо. Небо было большое, высокое и такое синее, словно его маляры подновили на этот случай. И в этом небе наши били немцев, выручали Куличка.

Странно тихо стало на земле, чуть плескалась волна о берег, чуть скрипели деревья, и все - земля, река, люди, - все смотрело теперь в небо: там кипел бой. Озверело ревели моторы, чиркали красные пули, и Куликов увидел, как над самой его головой разламывается "хейнкель". Разламывается, как спичечная коробка. Полетело одно крыло, потом второе. Вдруг раскрылся белый купол парашюта. "Неужто уйдет, собака?" - заметался Куликов, но парашют вспыхнул, в мгновение на глазах у Алексея съежился, похудел и, как догорающий факел, упал где-то за рекой.

- А-а! - закричал тогда, не помня себя от радости, Куликов. - А! Ага! Ага, гад! - Он даже заплясал на месте, злорадствуя, и все повторял: - Ага, ага! - А когда "хейнкели" трусливо побежали с неба вспять, на запад, он закричал им вдогонку: - Куда, куда? Бей их! Ату!

Теперь Куликов стал присматриваться и прислушиваться к

бою. Глаз уже не закрывал и ушей не прятал. Раньше каждый выстрел заставлял его вздрагивать, теперь различал он, когда бьют немцы, когда наши. И чем больше и чаще били наши, тем веселее становилось у Куликова на душе, и страх таял. Больше не был он одиноким на огромном поле: ишь, сколько сил собралось, чтобы выручить Куличка!

Но тут над самой его головой что-то тонко-тонко свистнуло. Он даже не понял - что. Он увидел, как чиркнула о песок пуля... Еще и еще... Так падают дождевые капли в воду - всплеск, и круг по воде. Но капли падали все чаще и чаще, и все вокруг Кулика, и он увидел, как вздрагивают на сосне ветки и иголки хвои сыплются рядом на песок. Все ближе и ближе падают капли, и спереди, и сзади, и со всех сторон, словно кто-то далекий и невидимый вяжет петлю вокруг Куликовой шеи и некуда выскочить из петли.

И что Куликову с того, что наша артиллерия теперь била часто и густо, все равно петля вокруг его глеи вязалась неотвратимо, вражеский автоматчик все чиркал и чиркал, подбирался к самому горлу... И вдруг, словно захлебнувшись, смолк.

Перестали вздрагивать ветки, пузырьки исчезли на песке. Куликов робко, осторожно оглянулся вокруг и увидел, как сосед, весело улыбаясь, досылает новый патрон в патронник.

- Это ты его? - удивленно и почтительно спросил Куликов.

- Я, - гордо ответил сосед. - Как, ничего?

И тогда Куликов вспомнил, что у него у самого есть винтовка. Вот она, рядом. До сих пор он и не думал о ней. И во вчерашнем бою не думал. Таскал за собой - это верно, потому что казенную вещь бросать нельзя, но ни разу из нее не выстрелил.

Теперь схватил он ее горячо и жадно, словно в ней от всех бед спасение, и стал стрелять. Он палил не глядя, торопливо и лихорадочно (только руки дрожали), он словно обводил себя огненным кругом, как старуха древняя обводит себя крестом, чтоб оградиться от нечистого. И казалось Куликову, что теперь не прорвется к его горлу смерть, огненной черты не переступит.

Но тут над ним раздался сердитый голос командира:

- Ты чего патроны жгешь? Куда палишь? Кого видишь?

Куликов уронил винтовку. Рядом с ним лежал командир и пристально смотрел на него. А вокруг на песке тут и там валялись стреляные гильзы.

- Страшно тебе? - отрывисто спросил командир.

- Страшно... - сознался Куликов и съежился, подумав: сейчас станет командир ругать.

Но командир помолчал, пожевал губами и сказал тихо:

- В первый раз всем страшно.

И из второго боя Алексей Куликов вышел целым и невредимым. Опять он уцелел! И, уцелев, опять удивился. А вечером подошел к командиру и, переминаясь с ноги на ногу, спросил:

- Как, товарищ лейтенант, ваше мнение: много ль металла потребно, чтоб человека убить?

Командир удивленно посмотрел на него, потом улыбнулся и ответил:

- Для труса - шальной пули хватит. Для смелого - и тонны мало.

Над этими словами Куликов задумался крепко. Кто говорит, что в бою думать не приходится, тот никогда не был в бою. В бою думают, и мысль тут остра и быстра, а глаз приметливый.

Куликов скоро приметил, что трусу действительно погибнуть легче, чем мухе. Полет пули, а стало быть, и полет смерти свой закон имеет, закон этот надо знать. А трус под огнем мечется, трус ничего не видит, его любая пуля найдет. На пристрелянном рубеже он лежит, а под шальным огнем в панике бегает. Трус и с винтовкой безоружный. Он огнем на огонь не отвечает. Он не воин, он мишень.

Алексей видел, как трусы гибнут, и всегда думал при этом: "Хилое существо человек. Как былинка в поле. Ветер подул - и нет его".

Но однажды в медсанбате, где Алексею перевязывали пустяковую царапину, довелось ему увидеть сержанта Чернова, про которого в тот день весь полк шумел. Живого места не было на том сержанте, все его тело было перебито и переколото, а он все дрался с врагом, и немцы никак его убить не могли и не убили.

Куликов с почтением глядел на его раны и удивленно головой крутил. Ему все хотелось посмотреть, пощупать, что за кости у этого человека, что их перебить нельзя.

А Чернов метался на соломе и сквозь стиснутые зубы хрипел:

- Врешь! Врешь! Выживу! Врешь!

"Это он со смертью воюет, - догадался Куликов. - Гордая у человека душа".

Он спросил врача:

- Неужто жить будет?

- Будет! - уверенно ответил врач. - И драться еще будет.

Так этот случай поразил Куликова, что, вернувшись из медсанбата, он долго рассказывал о нем товарищам.

- Понимаешь, хилое существо человек, а смотри, никак его убить нельзя, если в нем душа гордая. Нет, я так понимаю: если

хочешь жить - за жизнь драться надо. Он в тебя смерть шлет, и ты в него смерть шли. А там поглядим, чей козырь крепче!

Тут он заметил, что к словам его прислушивается политрук, и смутился.

- Я это так, товарищ политрук, - сконфуженно сказал он, - рассуждаю своим беспартийным умом. Может, не так?

Но политрук его одобрил:

- Так, товарищ Куликов, так!

Это был новый политрук в роте, товарищ Званцев. Прежнего политрука звали Мирским, и того политрука Куликов не любил. Тот все, бывало, кричал о смерти. Шли ли разведчики в поиск, он напутствовал их: "Вы идете на смерть, товарищи! Но долг свой выполняйте свято". Шла ли рота в атаку, он кричал нервно, визгливо: "Умрем, товарищи, наше дело правое, все умрем, но врага не пустим". Только и слышно было от него: умрем да умрем. И от этих слов каждому казалось, что смерть все вокруг тебя ходит, тебя ищет.

Про себя Мирский говорил: "Я презираю смерть". Но Куликов усмехнулся в душе: "Нет, товарищ, ежели ты презираешь смерть, так и не думай о ней. Дерись с открытой душой, смерти не боясь, и о смерти не хлопочи. А если все время говорить да кричать о смерти, так и выходит: не ты ее, а она тебя презирает. Всеми твоими мыслями овладела, живого в саван облекла. С такой душой драться худо!"

К дыханию смерти привыкнуть нельзя, но притерпеться можно. И Куликов притерпелся. Он научился хитрить, обманывать смерть, не бояться ее, а потом и вовсе о ней не думать. И когда перестал думать, сразу стало легко и жить и драться, и пули словно обходили его.

Мирского скоро сняли и перевели куда-то - он нервами болел, - а в роту назначили Званцева. Этот о смерти не говорил, а больше о жизни и победе. Был он человек молодой, веселый, непоседливый и красноречивый. И так он складно говорил о жизни, о том, какая жизнь после победы будет - вольная, безоблачная, счастливая, что за эту жизнь и умереть было не жаль!

И об этой жизни любил помечтать Куликов ночью. И понесет его мечта в родное село, за реку, на взгорье подле рощи, где березка вперемежку с молодым дубком.

...А какие хлеба в августе! А какие кони в конюшне! А какие у жены золотые руки, а у дочки какие глаза - синие-синие, такой синевы и не бывает нигде! И вот возвращается домой Куликов, и все село ему навстречу, на колхозном дворе в колокол бьют, под березами столы накрыты... Богатство какое! Что хлеба! Что

птицы! Что молока! Жена к нему руки протягивает... Золотые у бабы руки, теплые-теплые...

- Да, - крякнет, размечтавшись, Куликов, - вот оно как... хочешь, Алексей Тихоныч, жить - за жизнь драться надо!

2. АЛЕКСЕЙ КУЛИКОВ ПРИХОДИТ В ЯРОСТЬ

До войны Алексей Куликов был человек мирный, тихий, приверженный к земле. Хоть и молодой он был, а и старики его советом не брезговали. Был у него талант: понимал в земле. Понимал по-своему, по-крестьянски, потому что каждый человек свое понятие о земле имеет. Для инженера земля - руда, уголь, золото, для строителя - грунт, для моряка - берег. А для Куликова земля пшеница, рожь, корма, пар, огороды.

На войне Куликов долго не мог привыкнуть к тому, что этот пшеничный клин - не клин вовсе, а "огневая позиция", огород - не огород, а "командный пункт комбата". Своего молоденького взводного командира Куликов чуть не в ярость приводил. Бывало, докладывает Куликов:

- Так точно, товарищ младший лейтенант, ваше приказание сполнил. Ходил к капитану на огород, докладал, что пушка из пшаницы переехала в гречку...

Расстроится таким докладом взводный командир: сначала терпеливо, а потом уж волнуясь и сердясь, станет разъяснять Куликову, как по-военному говорить нужно. Выслушает его Куликов и сокрушенно вздохнет. И то огорчительно, что хорошего человека - командира расстроил, и то, что военной премудрости постигнуть не может. А всего более горько то, что пшеницу топчут войска, по гречихе пушки колесами ездят, подсолнухи, как подрезанные, падают. Война.

И навсегда запомнилось Куликову, как отступали наши войска из пшеничного края. Пшеница - ее только и видел Куликов, золотую, рослую, могучую пшеницу. И как шумела она под степным ветром, тоскуя по серпу, и как осыпалась, и как ее сначала топтали, а потом жгли, чтоб не досталась врагу; и горек был дым пшеничного поля, - этого запаха гари Куликову никогда не забыть.

Через многие города и села прошел Алексей Куликов и везде видел: аккуратно, богато, чисто жили здесь до войны люди. За Днестром, в каменец-подольских селах, соломенные крыши точно девки-модницы причесаны: где надо, подстрижено, где надо, в косы заплетено, где надо, завито и кучерявится, - парикмахерская работа! За Бугом - виноградники, баштаны, арбузы пудовые, а тыквам - весу нет; у молдаван - хаты каменные; у болгар над окнами гроздья красного перца на ниточках, как монисто у девчат на шее. За Днепром степи жирные, черноземные, села огромные, а

хатки веселые, во все колера крашенные - голубые, розовые, кремовые... Украинцы чисто живут. У них в хатах даже дух легкий: травой, что ли, пахнет или сладким сеном. Аккуратно жили люди. Богато. Следы этой вольготной жизни Куликов заставал везде. И плакали люди, глядя, как разоряется эта жизнь, а у Куликова тоской и яростью наливалось сердце.

Низко-низко опустив голову, шел он этим крестным путем, сквозь дым и гарь, и женщины у колодцев провожали его долгим прощальным взглядом. Ничего не говорили женщины, не кричали, не плакали и рук не заламывали над головой, только молча смотрели вслед, но глаза их, сухие и горькие, жгли Куликову душу, словно он был всему виной.

Да, он был всему виной, и на нем была великая вина перед народом, потому что он плохо дрался. И, когда вышла неустойка и часть попала в окружение, он тоже, как некоторые другие, боя не приняв, бросил винтовку и побежал куда глаза глядят. И три ночи после этого пролежал он с товарищем в кукурузе, пока голод не выгнал их на дорогу.

И, когда вышли они из кукурузы, босые, рваные, безоружные, вокруг них и на много верст вперед уже стояли столбы дыма, горели сахарные заводы, мельницы, села; а у дороги висели повешенные колхозники, их синие ноги качались над травой.

Много дней и ночей шел Куликов с товарищем по разоренной земле, выпрашивая хлеб в селах и прячась от немецких патрулей, - и всё не могли выйти к своим. И однажды товарищ, не выдержав, сел на камень у дороги и, показывая на свои окровавленные ноги, сказал:

- Никуда не пойду больше. Все одно - пропала Расея.

Куликов ничего не ответил, постоял немного, подумал и, не оглядываясь, пошел дальше один.

Он не знал, что сталось с Россией, и где теперь наши, и как далеко шагнул немец, но смутно чувствовал он всем существом своим: пропасть Россия не может. И более отчетливо: надо пробираться к своим. И брел.

С большой дороги он давно ушел, брел проселками, лесными тропами, полевыми дорожками промеж; высоких подсолнухов, селений избегал и только в сумерки появлялся где-нибудь на хуторах и робко стучал в окошко крайней избы. Только б не нарваться на немцев, а у русского человека всегда найдется для него кусок хлеба с солью да пук соломы.

Так однажды, в полдень, попал он на выселки, и голод загнал его в хату. Он постучал. Выглянула молодайка, красивая, теплая, рослая баба. Она сперва испугалась его: страшен он теперь стал, бородатый и нечесаный, а потом ввела в хату, усадила за стол, а

сама заметалась по комнате от печи к столу, от стола к каморке.

И пока он ел - сперва жадно, торопясь, а потом, насытившись и вспомнив деревенский обычай, медленно и степенно, как в гостях, - она рассказала ему, что сюда немцы еще не заглядывали, но у людей страху много; все под страхом ходят, и жизни никакой нет. А он хлебал молоко, слушал ее бабьи жалобы, вдовьи тревоги и сочувственно кивал головой, потому что действительно на войне горше всего от фашистов приходится курице и бабе: курицу - в котел, бабу - на поруганье.

Насытившись, он вытер рот рукавом, глянул в окно - солнце еще было высоко в небе - и сказал, кланяясь:

- Спасибо, хозяюшка. Теперь я пойду.

Но она посмотрела на его окровавленные ноги и покачала головой:

- Куда ты пойдешь? Не дойти тебе, - и, опустив глаза в половицы, тихо, словно самой себя стыдясь, докончила: - Оставайся здесь. Живи. Мужика у меня нет, а без мужчины бабе плохо. Хозяйство валится...

Он потоптался на месте - тепло, хорошо было в избе, еще сытно пахло борщом и спелыми яблоками из каморки, на дощатом полу сладко умирали травы не то мята, не то чебрец...

- Хорошо, - тихо ответил он.

В сумерки, когда хозяйка пошла доить корову, он вышел из хаты покурить на крыльцо. Свою бороду он теперь расчесал, а белье сменил, - баба дала мужнино. Покуривая, он стоял на крыльце и оглядывал двор. Он заметил, что двор хозяйственный, а огород большой. "Ишь, капуста какая... серебряная!" умиленно подумал он. И тут же: "А плетень чинить надо". И не было вокруг ни войны, ни смерти, ни крови.

Он пошел по двору, ступал медленно, важно, как хозяин. Трогал рукой вещи, все знакомые, все привычные. "Траву косить надо!" Он потрогал рукой косу. И сразу окружил его привычный крестьянский мир, и пахнуло теплом из хлева, и сладко заныло сердце, и зачесались руки работника...

Эту ночь он спал на перине, чистый, сытый, в чужом и чистом белье. Сонно и счастливо дышала молодайка и улыбалась во сне своему случайному бабьему счастью. А Алексей не спал. Не спалось ему на подушках - то ли душно в избе, то ли травы на полу умирают беспокойно, чебрец или мята, и запах их бередит душу...

Вспоминались Алексею дом, и жена, и дети, и товарищи, - которые уцелели из них! - и тощие пензенские поля - песок и суглинок, и рыжий старшина роты, как он, бывало, все ворчал: "Едоков в роте много - вояк, погляжу, мало", - и виселицы на

перекрестке дорог, и синие ноги над травой - "а я тут лежу на чужой перине, прохлаждаюсь", - и дым над полями и селами, как горела земля и становилась черной, сморщенной, горькой... Никогда теперь не уснуть спокойно Алексею Куликову, пока горит родная земля.

Тихо встал он с перины - хозяйку бы не разбудить! - тихо оделся, постоял у двери. Прошептал: "Спасибо, хозяюшка. Не осуди!" - и, махнув рукой, вышел.

И когда вышел на свежий ветер, стало на душе его легко и вольно.

И опять была перед ним дорога в дыму и крови - крестный путь русского народа. И опять он шел через дымящиеся села, мимо пепелищ и виселиц, и горькие слезы женщин падали в его душу, младенческий крик звенел в его ушах, - этого предсмертного крика ему никогда не забыть.

Он был честный и мудрый, справедливый мужик, простой души и чистой совести. Он привык во всем разбираться медленно и осторожно, любил всех выслушать, чтоб всех понять и никого не обидеть. И когда он видел пожары и трупы, он понимал - это война, про это и деды рассказывали. Но детей, детей за что? Он стоял над детским трупиком, над беленькой девочкой, которую так, походя, пристрелил фашист, и не понимал: зачем? за что? И думал: "Вот и мою Анютку, доведись, так же..."

В другой раз он увидел, как грабят немцы кооператив, напихивают в танки ящики, бочки, мануфактуру... И вдруг вспомнилось Куликову, как, бывало, после хлебосдачи приходил он в сельпо и, облокотившись на прилавок, начинал с продавцом Иваном Родионовым серьезный разговор. Иван Родионов надевал на этот случай очки в жестяной оправе и доставал из-под прилавка тетрадь заказов, а Куликов говорил ему, что затеял он к зиме новую шубу построить, а хозяйке понадобится маркизет, а сынишка пойдет в школу, стало быть валеночки...

- За маркизет не ручаюсь, - озабоченно отвечал Иван Родионов, - но что будет, по силе возможности...

Вот теперь тащат немцы маркизет, сукна, валенки. Они разбили двери, сломали замки, разворотили полки... И опять не понимал Куликов: "По какому праву? Ведь это же наше, мое добро..."

Раз проходил он мимо разбитого немцами родильного дома. Не с руки ему было, а зашел. Словно силой какой потянуло. Были выбиты в доме все стекла, и мебель переломана, и на полу солома, навоз и грязь. Через все палаты прошел Куликов, и лицо его было каменным, а глаза сухими. А в одной палате не выдержал - уронил слезу. Детские кровати тут были. Беленькие,

махонькие, кроватки для новорожденных.

И он долго стоял, склонившись над пустой кроваткой, как тогда над трупом девочки в ситцевом платьице с горошинами. И вспомнилось ему, как однажды, ранней весенней зарей, приехал он в район в больницу, - жена рожала первенького. Доктор вышел на крыльцо, поздравил с сыном. Покурили. "Летчик будет?" - пошутил врач. "Нет, - ответил Алексей, - будет, как отец, пахарем". Такая в то утро теплынь была, и вся местность звенела, точно вокруг всё колокола и жаворонки, а у больничного крыльца, застоявшись, нетерпеливо ржали кони, добрые рыжие кони, и в бричке пылала под солнцем гора золотой соломы, - это чтоб новорожденного не растрясти.

И впервые подумал Куликов здесь, у пустой детской кроватки: "До чего ж складно было все у нас устроено на нашей земле! Если жене рожать - больница, сына учить - школа, семена травить - лаборатория, трактор ладить к весне МТС".

Все разрушил фашист, все, что было любо и дорого Алексею Куликову, все, к чему привык он, чем жил. Весь уклад его жизни растоптал фашист. Нет, это не такая война, про которую деды рассказывали. Нет, это не такой враг. И все накипало и накипало сердце Куликова яростью... Трудно его рассердить, но горе тому, кто рассердит его!

Однажды он засиделся в хате, куда загнала его непогода. Хозяин, степенный пожилой мужик, оставлял ночевать - дождь на дворе, холодно. Куликову и самому не хотелось уходить - сколько дорог уж он прошел, сколько еще идти! - но деликатничал: "Время неспокойное, может стесню?" Они беседовали негромко и неторопливо, и все о том же, что времена пришли страшные, беда, разорение.

Вдруг - громкий стук приклада в дверь, звон стекла, и - немцы. Они не вошли, как люди в чужую избу входят, сняв на пороге шапку и поздоровавшись, - ворвались. Один сразу же забегал по избе, другой бросился к столу, третий нетерпеливо закричал хозяину:

- Фить! Фить! - и показал рукой на дверь.

Хозяин не сразу понял, чего хочет от него гитлеровец. Он чуял: стряслась беда, а какая - еще неведомо. Но немец все злее кричал ему: "Фить! Фить!" - и пистолетом показывал на дверь. И только тогда хозяин сообразил, что его просто гонят из хаты на улицу. Он растерялся: как же можно такое? Ведь это его изба. Может, они не знают, что эта изба - его, его собственная? Может, они не верят, что это его хата? Так все соседи подтвердят. Вот и иконы в углу - ими еще при деде освятили новоселье, вот и сундук, купленный в Ромнах на базаре, вот постель, стол,

карточки на стене - все его, хозяина, вещи. Он разводил руками, объяснял, тыкал пальцем то в фотографии, то в иконы, но немец уже совсем свирепо крикнул ему: "Фить!" - и вышвырнул его за порог. Просто вышвырнул.

Потом обернулся и встретил взгляд Куликова. Тяжелый был этот взгляд, даже немец опешил.

- Рус? - пробормотал он.

- Да, рус. Русский, - гордо ответил Куликов. - Русский я, - повторил он еще раз.

- Рус - собака... - сказал, наливаясь злобой, гитлеровец и вдруг сорвал с головы Куликова шапку (память о молодайке) и надел на себя. - Рус ничего не надо. Рус - собака, - сказал он, уже хохоча и довольный собой.

- Сам ты собака! - закричал Куликов, но пинок вышвырнул его за дверь.

Он очутился в темноте. Медленно падал дождь. У плетня стоял хозяин и плакал. Не плакал даже, а как-то странно скрипел зубами, и Куликов понял, что это от горькой обиды. Нет той обиды горше, когда тебя из собственной хаты выгнали. А дождь все падал и падал.

Куликов подошел к хозяину и стал рядом у плетня.

- Убивать их надо, - негромко сказал он, - всех убивать.

Но хозяин вдруг яростно обернулся к нему. То ли больше он людям не верил, то ли надо было злобу сорвать, но ответил он с сердцем:

- Тебе-то что? Твоих-то, пензенских, не касается. Твои-то, пензенские, гитлеровца не пробовали...

- Может быть, пензенских не касается, - обиженно согласился Куликов. И вдруг закричал: - А душа? Душа что? Душу ты не считаешь? Что ж, у меня не русская душа?

Никогда раньше не задумывался Алексей Куликов о том, какая у него душа - русская или нерусская. В колхозе у них всякий люд был - и русские, и татары, и мордва. И человека ценили там по тому, как трудится человек. Но сегодня, когда фыркнул ему немец: "Ты, рус, - собака", - остро почувствовал Алексей Куликов, что кипит в нем гордая и вольная русская душа и душу эту ни оплевать, ни растоптать, ни унизить нельзя.

И не было в этой душе сейчас ни сомнений, ни жалости, ни страха только ненависть. Ненависть душу жгла.

Когда памятным июньским вечером ехал Алексей Куликов служить в армию, казалось ему, будет эта война недолгой и нестрашной, вроде осенних сборов приписного состава.

Но теперь, пройдя крестным путем много километров, не спрашивал себя Алексей Куликов, долго ли, много ли ему

воевать. Знал: до тех пор воевать, пока не уничтожим врага.

Немецкие патрули, мимо которых пробирался он, и не знали, что это идет к своим Алексей Куликов, русский солдат, твердо положивший в душе своей биться с врагом, жестоко биться, без страха, без жалости, без пощады. До конца.

3. АЛЕКСЕЙ КУЛИКОВ СТАНОВИТСЯ ВОИНОМ

Драться! Драться! - вот чего больше жизни желал Алексей Куликов, когда, выйдя из окружения, попал, наконец, с маршевой ротой на фронт. А его в первый же день на фронте горько обидели.

Всему пополнению выдали винтовки новенькие, золотистые, еще жирно, по-складскому, смазанные ружейным маслом, а ему досталась винтовка старая, пообитая, щербатая.

- Ишь ты, блондинка! - восхищенно восклицал молодой паренек и нежно гладил ложе своей золотистой винтовочки. - Наташка...

А Куликов сердито разглядывал свою: на прикладе трещина, на стебле затвора заусеницы, ствольная накладка пожухла и сморщилась. "Шрамоватая какая-то! - неприязненно подумал Куликов. - От начальства за нее беспременно влетать будет, чисть не чисть".

Командир отделения заметил расстройство Куликова.

- Вы что ж, товарищ Куликов, - спросил он обиженно, - оружию не рады?

- Да нет... Чего ж? Ружье как ружье.

- А что ж вы дуетесь на него, как мышь на крупу? А ну, покажите. - Он взял из рук Куликова винтовку, поглядел номер, и лицо его вдруг осветилось тихой, хорошей грустью. - Тридцать три тысячи пятьсот тридцать семь, произнес он. - Максима Спирина оружие. Друга. Флорешти... Дубосары... Еще Прут... Река есть такая...

- Я там был.

- Д-да... - сержант задумчиво вертел в руках винтовку, - вот эта трещина на прикладе - это Максим немцу черепок расколол. А на черепке каска. Дюже горячий бой был...

- Что ж, погиб... Максим?

- Да... Теперь неживой.

Оба замолчали.

- Ну давайте, - произнес, наконец, сержант, - винтовку себе возьму.

Но Куликов тихо ответил:

- Нет, товарищ сержант, теперь не отдам.

С тех пор не расставался Алексей Куликов со своей шрамоватой. И когда политрук, бывало, рассказывал бойцам о

славе русского оружия и вспоминал суворовских орлов, и оружие октябрьских баррикад - пики да самострелы, и деревянную пушечку сибирских партизан, и танки Халхин-Гола, - Куликов все поглаживал свою шрамоватую, словно в ней были и вся слава и все традиции русского оружия. С этой винтовкой нельзя плохо драться, ее опозорить стыдно, а бросить на поле боя - смертный грех. Он и сам не понимал теперь, как это случилось, что он бросил когда-то свою винтовку и убежал с товарищем в кукурузу. "Ах, подлец, подлец! - ругал сам себя, - подлец-изменщик".

Однажды он сказал сержанту:

- Ежели меня убьют, то мою шрамоватую отдай достойному бойцу.

- Хорошо, - не улыбнувшись, ответил сержант, - отдам достойному.

В эту пору произошел у Куликова крупный разговор с Леонидом Внуковым. Стояли они тогда на отдыхе после жестоких боев, мылись, брились, отъедались. Больше всего Куликов обрадовался речке. Вот и на Днестре он побывал, и на Днепре, и на Буге, а эта речка всех милей. Те реки большие, шумные, пароходные, бог с ними; эта тихонькая, узенькая, родная, в ней и постирать удобно и поплавать - одно удовольствие, словно дома, в детстве...

А Леонид Внуков сидел на берегу скучный, сгорбившийся. Тускло глядел на реку, на плескавшегося там Куликова и то зевал, то вздыхал.

- Что заскучал, товарищ военный? - весело обратился к нему Куликов, вылезая на берег. - Не скучай о бабе, пусть бабы о нас скучают.

Он сел рядом с Внуковым, подставил плечи и шею солнцу. Последние теплые дни, бабье лето.

Внуков и шутке не улыбнулся. Скрипуче стал жаловаться он, что устал, чертовски устал он, здоровье у него нежное, к такой жизни не приученное, а тут бои да походы, бои да походы... Тяжелая война.

- А война легкая не бывает, - отозвался Куликов.

- Я ведь раньше как жил? - скрипел Внуков. - Я замечательно жил. Хорошая у меня была должность...

- А теперь у всех мужиков одна должность: фашиста бить...

- Я ответственный был в районе человек. Управляющий делами рика. Зачем меня на войну?

- Ишь какой у тебя умный чертеж! - усмехнулся Куликов. - Значит, Куликов фашиста бей, а Внуков - бумажки пиши?

- Так если я по этому делу спец? Тебя в учреждение посади, ты и не справишься.

- А я в канцелярию и не сяду. Меня бабы засмеют, здорового...

- Да, - вздохнул Внуков, - ответственный был я человек, а тут рядовой, и все надо мной - начальники. Это мне обидно.

- А я так полагаю, - сказал, сердито нахмурив брови, Куликов, - что нет той чести больше, как на войне бойцом быть.

Но Внуков не слушал его. Он все про свое ныл, жаловался. Просто хотелось ему перед кем-то высказаться, поплакаться.

- Я, бывало, дома чисто ходил. Одних галстуков, знаешь, сколько у меня было? А теперь гляди, в какой я робе? Грязное все. Везде пятна.

И тогда вскочил на ноги Алексей Куликов и заревел не своим голосом:

- Скидай! Скидай, сукин сын!

Внуков испуганно взглянул на него, ничего не понял.

- Гимнастерку скидай. Вот речка. Стирай, сукин сын, свой мундир. Чтоб ни пятнышка не было!

Вот удивился бы политрук Званцев, услышав сейчас Куликова! Полно, тот ли это Алексей Куликов, что еще несколько месяцев назад дрожал под снарядами, ожидая смерти, тот ли, что докладывал, бывало, что "пушка из пшаницы переехала в гречку"? Он ли говорит сейчас о бойцовской славе, о воинском долге, о чести мундира?

Да, не тот стал Алексей Куликов. Теперь это был воин, суровый воин, обстрелянный и обветренный, понимающий свой долг, честь и дисциплину.

Сам Куликов не удивлялся своему превращению.

- На войне и лошадь привыкат, - любил говорить он. - Погляди: ишь, стоит, не моргнет.

Он привык воевать, драться, спокойно ждать боя, спокойно глядеть на смерть и кровь, привык к бесконечным походам и переходам, к кочевой солдатской жизни. И портянка ноги не трет, и армейский сапог не давит. И снаряжение как-то ладно улеглось на нем, все к месту, ничто не гремит, не мешает; полная выкладка, а не тяжко. Потому не тяжко, что все нужно, и ни с чем Куликов расстаться не захочет. И скатка нужна, она бойцу все - и одежа и одеяло; и фляжка нужна (летом с водой, зимой с водкой); и вещевой мешок с НЗ нужен, а плащ-палатка в дождь лучше крыши любой, - как ее бросишь?

Вот разве противогаз... Противогаз как будто ни к чему... Он пока Куликову подушкой служит. Но и его ни за что не бросит Алексей. Злобен враг - противогаз пригодится!

Но больше всего уважал Куликов, берёг и лелеял свою шрамоватую винтовку и саперную лопатку. Про винтовку и говорить нечего, без нее воин - не воин, но и маленькую лопатку,

долго болтавшуюся без особого дела на боку, однажды оценил Куликов. Маленький бруствер - двадцать сантиметров, всего ничего, - а спас Куликову жизнь. Немецкая пуля чиркнула о глину, рикошетом прошла по каске, хоть бы что... С тех пор большой ли был бой, или малый, наступал ли Куликов, или лежал в обороне, лопатке его всегда находилось дело.

Каждая землянка, блиндаж, окоп, яма сразу становились для Алексея Куликова жилым домом. И все в этом доме было на месте - тут винтовка, тут лопатка, тут противогаз - все его бойцовское хозяйство. И он по-хозяйски, как, бывало, дома в своей усадьбе, устраивался здесь, словно не час, не ночь одну ему тут жить, а века. Копал канавки, чтоб вода не натекала, добывал соломку, а соломки нет - травы. Короток сон бойцовский - значит, надо, чтоб сон был как сон.

Он был теперь исправным, ладным, исполнительным бойцом; молодые учились у него. Он мог многому их научить, - бой в лесу, скажем, не то, что бой в степи, и опять совсем не то, что бой в населенном пункте, а Куликов во всех этих переплетах бывал. Молодые жадно слушали его. Они должны были его и слушать и уважать: вот в скольких боях человек побывал, а цел!

Правда, героизма за Алексеем Куликовым еще не было, слава о нем не гремела по стране и в сводках Информбюро его имя не попадалось. Но если писалось там, что батальон Субботина отбил сегодня восемь яростных немецких атак, то это и про Куликова писалось. Это он с товарищами принял на себя восемь атак и не дрогнул. А если писалось, что после жестокого боя наши войска овладели населенным пунктом, то можно было быть уверенным, что был там и Алексей Куликов, дрался на улицах, стрелял из-за церковной ограды, докалывал немца на чердаке.

Куликов и сам знал, что нет за ним никакого героизма. Бывало, читая в газетах рассказы о подвигах славных советских воинов, он восхищенно восклицал: "Вот орлы! Вот, право слово, соколы! Помыслить только - какие дела может человек!" А если ему говорили: "Так и ты, Куликов, герой, ведь вот как дерешься!" - он возражал: "Какой это героизм! Это служба". Но службу свою нес достойно.

Ничем не был еще награжден Алексей Куликов, ни орденом, ни часами, потому что, если наградить его, так надо всю Красную Армию награждать, всех ее бойцов, так же, как и Куликов, достойно несущих свою боевую службу.

- Да мы, брат, не за награды и воюем, - сказал он однажды в землянке, нам одна награда: немца с нашей земли прогнать да зажить счастливо. Такая это, брат, награда, такая награда - мне и не надо другой.

Но тут все заспорили с ним - и молодые и старые. Особенно молодые.

- А я за орден дерусь! - вскричал кучерявый пулеметчик Митя. - Вот как хочешь меня суди, а я желаю, чтоб мне орден вышел. И чтоб мне его за мою храбрость дали. И чтоб дали немедленно, как заслужу. И чтоб тот орден мне сам генерал вручал. И чтоб об этом мои домашние узнали...

- Домашние - это верно... - задумчиво согласился Куликов.

- И тем орденом, - горя глазами, закончил Митя, - я всю жизнь гордиться буду!

- А у меня гордости нет...

Но это Куликов напрасно про себя сказал. Скоро узнал он, что и у него есть гордость. Пришло и к нему воинское самолюбие.

Как-то рассказал им политрук о снайпере Брыксине, о парне из соседнего взвода, который каждую ночь на охоту ходит и немцев бьет.

- Вот, - укоризненно закончил политрук, - а у вас во взводе такого орла нет.

Вот тогда-то и взыграло в Куликове воинское самолюбие. Загорелось сердце. В тот же день нашел он Брыксина и долго смотрел на него.

- Ты Брыксин? - спросил он, наконец.

- Я.

Куликов недоверчиво разглядывал снайпера, - парень как парень, один нос, два уха.

- Врут, что ты еженощно немцев бьешь?

- Нет, правда, - усмехнулся Брыксин.

- И много набил?

- На сегодняшний день в аккурат двести тридцать восемь.

- Та-ак...

Куликов долго молчал, думал, а потом вдруг сказал дрогнувшим голосом:

- Учи! Убедительно тебя прошу: учи врага бить.

И он стал учиться.

Ничего не скажешь: хорошей показала себя шрамоватая винтовка, недаром она самому Максиму Спирину была подругой. Но оказалось, одной винтовки мало. Еще глаза нужны особенные, и руки, и сноровка, и мастерство. Этому мастерству и стал учиться Куликов. Он учился страстно, прилежно, как, бывало, на полеводческих курсах. Все началось с самолюбия, а вышло всерьез. Большое это счастье - видеть, как от твоей пули, от твоей собственной руки падает враг.

До той поры Куликов сам себе цены не знал. Он видел: на этой войне люди воюют массами. Что тут один человек значит?

Он даже не винтик в машине, он пешка. Но теперь узнал Алексей Куликов цену умелому человеку на войне. Один человек, а гляди - целую роту немцев уничтожил! Один Брыксин, а для всех немцев - гроза, за его голову награда положена. И Куликов захотел, чтоб и его руку почуяли немцы, чтоб и его, как Брыксина, в своих листовках прокляли, чтоб и его голову оценили. Интересно, во что оценят?

У каждого снайпера в их роте свой характер был, свои обычаи, свои повадки. Для одного - это веселая охота, лихая забава, для другого - азарт, опасный спорт, для третьего - дело славы. А для Куликова в снайперстве был выход его лютой ненависти к врагу. Большое это счастье - видеть, как от твоей руки падает проклятый враг. Еще один.

Куликов ходил на охоту в паре с Васей Прохоровым. Веселый это, красивый парень был, шахтер. И, когда возвращались они на заре с промысла, Вася, бывало, всегда по дороге нарвет охапку цветов, идет и нюхает, словно он только что из шахты на-гора вылез и девушки ему букет преподнесли. А Куликов шел с каменным лицом. Не забавой, не охотой это было для него, а священным делом мести. За эту девочку в ситцевом платьице. За родимый дом. За хозяина, плачущего у плетня...

И если б сказали ему: "Как же это ты, Алексей Тихоныч, незлобивый, мирный мужик, человека убил?" - он удивился бы этому вопросу и ответил: "Так это ж не люди. Это фашисты".

Не уменьшалась, а все росла и росла его злость на врага. Злость за то, что на нашу землю пришел, и за то, что любимый уклад жизни растоптал, и за то, что он воевать умеет, сызмальства сделал свой народ солдатской нацией и теперь разбойничает на нашей земле. И в этой великой, неукротимой злости была Куликова сила.

Давно уж прошел его страх перед немцем. Это раньше ему казалось, что немец все может: может внезапно окружить, может с тыла ударить, может танками раздавить, и силе его числа нет, и вездесущ он, и всемогущ, словно бог войны.

Но, воюя и каждый день сходясь в бою с врагом, увидал Куликов, что ничего сверхъестественного в нем нет. "Только нахальство сверхъестественное. Нахальством он и берет". Увидал Куликов, что и у фашиста не все железо, есть и фанерка; и нервишки у него тонки, - штыка уклоняется, ночи боится; и пятки у него проворные, - ишь, как бегает, когда мы нажмем!

Куликов первый в роте осенью форменно доказал, что не та теперь стала немецкая армия. Он пришел из разведки и принес документы, снаряжение и оружие с убитого немца.

- А языка, извиняюсь, не привел. Язык был, ног у языка не

было, объяснил он.

Командиры стали разбирать документы, а Куликов все нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Наконец, не выдержал:

- Вы винтовку ихнюю, винтовку поглядите.

- А что?

Куликов, торжествуя, взял винтовку, открыл затвор, все увидели грязь и ржавчину.

- Раньше я этого за немцем не замечал, - объявил Куликов. - Ржа завелась!

Про эту винтовку и про ржу он долго толковал среди своих. А если возражали ему, что все равно немцы воевать мастера и нам у них даже поучиться кое-чему нужно, он отвечал: "Ну что ж! Они нас воевать научат, а мы их воевать отучим. Навеки отучим! Уж это точно".

Видел Куликов и пленных гитлеровцев. Рваные, жалкие, вшивые, они жались к костру, который для них разложили в большом сарае, и Куликову, когда он глядел на них, все казалось, что это не люди, а вши у костра ползают. Комиссар пришел поговорить с пленными. Куликов ему сказал:

- Вы, товарищ комиссар, к ним не соприкасайтесь. Они все вшивые, - и такая брезгливость была в его голосе, что комиссар невольно расхохотался.

Куликову же пришлось и водить их на допрос. По дороге он пытался побеседовать с ними:

- Эй, ты, плюгавенький! Это ты собрался Россию покорить? Завоеватель! Где тебе, гунявому! Не покорить тебе России, понял?

Но немец только заискивающе глядел на него и моргал глазами. Куликов рукой махнул.

Что мертвый немец, что пленный немец, они в нем злобы не вызывали. Ненавидел он тех, с автоматами. И ненавидел люто.

Как-то - на рождество это было - взяли наши село. Куликова вместе с сапером послали "прочесать хаты". Село было пустынное, безлюдное. Полусожженные, побитые хаты стояли уныло, как на похоронах. Но в одной, что в самом центре красовалась и чудом уцелела, Куликов застал остатки недавнего пира. Подле елки, на которой еще висели побрякушки, стоял накрытый стол, а на нем снедь и рюмки, полные золотой влаги - видно, коньяк, - а на самом видном месте лежала гармошка: бери, играй, пей, ешь, веселись.

Бывалый боец, Куликов только усмехнулся глупости немца.

- Ишь ты, - качал он головой, пока сапер разминировал и елку и гармошку, - на шнапс хотел взять? Думал, русский на шнапс польстится? Прогадал! Больно рыбка востра, не изловят и мастера.

И вдруг он услышал тонкое, жалобное мяуканье. Где-то плакала, ну форменно плакала кошка. Он огляделся, прислушался:

- Где ж ты, сердешная?

Осторожно он пошел по комнате и остановился у стены, у сундука. Из сундука явственно доносилось мяуканье.

"Ах ты, бедняга! - подумал Куликов. - Кто ж это тебя в сундук?" Он хотел было поднять крышку и выпустить кошку на свободу, но остановился. Неладно что-то было с этим сундуком.

- Сапер, - позвал он, - ну-ка, обследуй.

- Мина, - показал сапер.

- Мина?

Лицо Куликова исказилось. Страшными стали его глаза. Он взял в руки спасенную кошку и машинально погладил ее.

- Эх, немец, немец! - произнес он сквозь зубы. - Добрый я. Это ты верно угадал. Ко всякому живому существу добрый я человек. Но только ты мне под руку не попадайся. Эй, не попадайся! К тебе у меня доброты нет.

4. АЛЕКСЕЙ КУЛИКОВ УБИВАЕТ ПРЕДАТЕЛЯ

С первых же дней войны, куда ни забрасывала б его солдатская судьба, Алексей Куликов всегда искал земляка. Сперва хотелось ему найти односельчанина, потом хоть из одного с ним района, наконец, просто пензенца. До зарезу нужен был ему земляк, чтоб вести с ним бесконечные беседы о родных местах, вспоминать знакомых мужиков и районных начальников, и чтоб знал он и врача, и лесника, и мельника, и на какой лошади агроном ездит, и помнил бы все происшествия, похороны, пиры и свадьбы в районе за двадцать лет. А если убьют Куликова, чтоб отписал земляк жене, душевно, обстоятельно и со слезой, потому что бабе слеза - утешение.

Куда б ни попадал Куликов, первым делом он выкликал: "Эй, пензенские тут есть?" - "Есть! - отвечали ему. - Тут все пензенские. Кто с Дона, кто с Урала. Табачком, земляк, богат?" Куликов, кряхтя, доставал кисет и грустно улыбался: "А я думал, пензенские..."

Так и не нашел Куликов пензенцев. Ну что ж, земляком надо родиться, а приятеля можно приобрести. Скоро приятель сам нашелся.

Никто в роте не понимал, как отличный и бывалый боец Куликов мог сойтись с Афанасием Дубягой.

Был этот Дубяга последним человеком в роте. Видали его люди в бою трус. Видали и на походе. Жалкой души человек. Жил он ото всех обособленно, угрюмо, лишней коркой с товарищем не поделится, шутке не посмеется, ударь его по плечу - обидится.

Куликов его не сразу и приметил. Привезли почту. Большая почта пришла, долго не было. Все столпились, галдят, радуются, всем письма есть. Только один человек в сторонке стоит, отвернулся, сгорбился.

- Ты что ж, мил человек, почтой не интересуешься? - спросил его Куликов.

Дубяга поднял на него глаза и ответил тихо:

- А мне получать неоткуда.

Он сказал это так грустно, что у Куликова даже защемило на душе.

- Ах ты, бедняга! - только и пробормотал он.

Говорят: друг - это тот, кто с тобой последней щепоткой махорки поделится. Но у Куликова для всех был открыт кисет, и для него в роте все кисеты открыты.

Говорят еще, тот друг, кто тебя в бою выручит. Но Куликова много раз выручали не известные ему бойцы-соседи, а он даже имен их в горячке боя узнать не успевал.

Дубяга ни махоркой не поделится, ни в бою не выручит. Отчего ж запал он в душу Куликова? Никто в роте этого объяснить не мог, да и сам Куликов не объяснил бы. Все бойцы в роте были его приятелями, верными, надежными, проверенными в огне. Он чувствовал к ним и уважение, и любовь, и дружбу, но жалость только один Дубяга вызывал. Сам того не сознавая, Алексей Куликов относился к Дубяге, как к той кошке в заминированной хате - жалко сердешную...

На войне боец без женщин живет, без детей, без семьи, - в его душе много нежности остается. Злость расходуется в бою, нежность - только на товарищей.

И всю великую, не израсходованную нежность своей души отдавал Куликов жалкому человеку - Дубяге. Он ходил за ним, как нянька, заботился о нем, чтоб поел Дубяга, чтоб поспал Дубяга, в бою о себе не думал, все о нем: как там - не убили Дубягу, не ранили ли?

А в свободные часы вел с ним бесконечные беседы о доме, о хозяйстве, о том, как жили до войны.

Куликов о хозяйстве мог говорить долго и вкусно. Он не вспоминал, не мечтал - он подсчитывал. Только слышалось - цифры, цифры, цифры. И сколько, бывало, в хороший год трудодень тянул, и сколько потянул бы, коли б не война, и сколько птицы на ферме, и почем мука была... И как раскинет он свою цифирь, округлит - выходит, замечательно жил до войны Куликов.

А Дубяга охватит колени руками, съежится весь, сгорбится и начнет, раскачиваясь всем телом, рассказывать о своих. Семья его

там осталась. У немца. Как они там живут? Живы ли еще? Жена была красавица, теперь небось старуха.

- Д-да... - сочувственно поддакивает Куликов, - горе одного только рака красит.

- Ждут они меня... Небось сынишка каждый день за околицу бегает: не идет ли батька?

- Они не тебя одного ждут. Они всех нас ждут. А один ты им без надобности. Что ты им один? - И Куликов принимается утешать Дубягу: Погоди! Вот соберемся с силой, немца измотаем, двинем всей громадой, вот ты и дома.

По ночам Дубяга часто плакал. Он плакал тонко-тонко, не по-бабьи даже, а как кошка скулит. Куликов сразу же просыпался, подсаживался, принимался утешать. Не терпел Куликов мужчин, у которых глаза мокрые, слеза не мужское дело, а Дубяге и слезу прощал. Он все ему прощал, как прощает мать незадачливому сыну.

Не раз бывало: придет Куликов с наряда замерзший, голодный, сейчас бы поесть и спать, а ему говорят:

- На тебя обед Дубяга взял.

Пойдет Куликов к Дубяге, тот молчит. Найдет Куликов котелок - пусто в нем.

- Съел!

Опять промолчит Дубяга. Куликов больше ничего не скажет, завернется в шинель и уснет голодный. И это он прощал Дубяге. "У него горе, у него, может, только и радости, что поесть", - оправдывал он его перед товарищами.

В другой раз совсем подло поступил Дубяга. Попали они как-то вдвоем с Куликовым в переделку: нарвались на немецкую засаду. Куликов бой принял. Немцев было семеро, они с Дубягой вдвоем.

- Штыком не успеешь - прикладом бей! - крикнул Куликов Дубяге и тут только заметил, что нет его рядом. Удирает Дубяга...

"Что ж это, друг?" - подумал было Куликов, но думать было некогда, немцы наседали.

Из этого боя Куликов вышел целым. Только на шрамоватой винтовке новый шрам появился да правую руку пришлось починять.

- Что же ты, милый? - только и сказал Куликов Дубяге при встрече. Товарища в бою бросать не годится.

Однако и это он простил Дубяге, как все прощал. "Душа у него робкая, вот и сдрейфил. Все одно не помощник он мне бы был".

В это время и случилось в полку чрезвычайное происшествие, - много о нем и шуму и толков было: боец пропал.

Вечером был, вот тут в блиндаже сидел, а к утру хватились - нет его. Пропал.

Одни говорили - немцами убит, но трупа не нашли, хоть искали. Другие гадали - выкрали его немцы. Но многие высказывались иначе: перебежал.

На эту тему и случился разговор между Куликовым и Дубягой.

- Я того бойца знал, - задумчиво сказал Дубяга, - он из наших мест был. Он к своим, видать, перебег. Домой.

- Ну вот! Они его избавителем ждут, а он к ним дезертиром, изменником прибег.

- Так ведь если тоска... - робко вступился Дубяга.

- А что ж он своим семейным радость принес?

Кабы он с армией пришел да врага прогнал - радость. А так... Они, может, надеждой жили. Может, баба ейная детям своим каждый вечер нашептывала: ничего, мол, деточки, ничего. Вот наш тятька с армией придет, наш тятька немца прогонит... И, может, детки о тятьке мечту имели. Наш, мол, тятька... А он с чем пришел? С чем, а? вы, мол, тут на меня надежду имели, так вот я явился, а надежды нет. Я надежду вашу потерял бегаючи. Сын спросит: "Тять, а где же наши? Ты с нашими пришел?" А тяте-то сказать нечего. Бросил тятя наших. Продал. Я такого подлеца, хоть отцом бы мне родным был, сам своими руками удавил бы...

- Говорить легко... - пробормотал Дубяга и вздохнул. На его лбу пот выступил на морщинах.

- Нет, ты сам рассуди, - продолжал Куликов, - допустим, прошел он через немецкую оборону, допустим, что его пять раз притом не расстреляли и не повесили. Ну, пришел в семью. Что семье делать с ним? Скажи на милость? Без него тошно, а с ним тошней. Перед немцами он за них не заступник, односельчане его как врага лютого встретят. А ему? Куда ему деваться, помыслил он своей глупой башкой? К немцу в кабалу идти? В Германию на каторгу, с голоду дохнуть? Так опять же семья прощай, и свобода, и добрая честь. В полицейские к немцу наняться? Так если партизаны его до той поры сами не пришьют, мы придем - кончим. Я первый. А мы придем, Дубяга, поимей это в виду. Во все места земли русской придем! И на Украину.

- А он, может, к партизанам пойдет? А?

- Партизаны такого не возьмут. Партизаны такому не поверят. Нет ему пути. Дубяга, милый человек. Одна ему путь - в петлю.

Куликов помолчал немного и круто прибавил:

- А Россию он продал. Продал, сукин сын.

- Так ведь Россия-то... Россия Россией и останется... - заметался Дубяга, - вот под татарами была, а все Россия. Ну,

пусть под немцами...

- А мне не всякая Россия нужна, - зло оборвал Куликов, - если хочешь знать, я не на всякую Россию согласен. Мне нужна Россия, чтоб был я в ней, как раньше хозяин на своей земле, и чтоб были колхозы, и если жене рожать больница, а сына учить - школа. Советская мне нужна Россия, слышишь? А другой я не хочу, другой и не будет.

После этого разговора Дубяга долго ходил хмурый, смятенный. От всех прятался. Забился в свою нору в блиндаже, свои думы думал. Куликова он сторонился. Встреч с ним избегал.

- Ты что? - удивленно спросил его раз Куликов. - Может, за что обиделся?

- Да нет... Ничего... - уклончиво ответил Дубяга, но глаза спрятал.

Через несколько дней после этого Куликова и Дубягу назначили в секрет. Они лежали в десяти метрах один от другого, и каждый думал про свое. Кто его знает, о чем думал Дубяга, а Куликов думал, что если б каждый русский человек убил хоть одного вражеского солдата - и войне б конец.

Подымался рассвет. На снегу заиграли косые тени. Куликов подтянулся, он знал: самое это недоброе время - ранний рассвет.

Вдруг он заметил, что Дубяга ползет. Сперва подумалось, что это мерещится. Куда Дубяге ползти? Некуда. Но Куликов всмотрелся и увидел, что Дубяга действительно ползет. Послышалось даже сопенье.

- Ты что это? Зачем? - громким шепотом окликнул его Куликов.

Но Дубяга не отозвался. Он полз молча, судорожно цепляясь руками за голые кустики и тяжело дыша. Пыхтенье его, какое-то прерывистое, трудное, как у загнанной собаки, всполошило Куликова.

- Ты что, обезумел? - крикнул он, обо всем забыв. - Ведь убьют! Пропадешь! - и пополз было на выручку.

Но в это время Дубяга поднялся на ноги и побежал. И Куликов с ужасом увидел, что бежит он с белым платком в руке и размахивает им над головою, а винтовки при нем нет...

- Вот ты что задумал... - тихо протянул тогда Куликов и медленно поднял к плечу свою шрамоватую.

Все прощал Куликов товарищу - и жалкую душу, и мокрые глаза, и плохую дружбу, - этого простить не мог.

По-снайперски взял он своего бывшего приятеля на мушку, как фашиста брал. Хуже фашиста сейчас был этот ненавистный человек, хуже лютого врага...

Грохнул выстрел.

Вернувшись из секрета, Куликов доложил командиру:

- Я Дубягу прикончил... Изменник он...

Жалости в его сердце не было.

5. АЛЕКСЕЙ КУЛИКОВ ВСТУПАЕТ В ПАРТИЮ

Никто в роте - ни товарищи, ни командиры, ни сам политрук понять не могли, отчего Куликов до сих пор не вступил в партию.

Не раз ему говорил парторг:

- Ты, Алексей Тихоныч, мужик умный, башковитый, боец отличный. Что ж ты в партию не идешь?

- Недостойный я... - отвечал Куликов, и больше с ним говорить было нечего.

Он не врал. Он и в самом деле считал себя недостойным. К партии было у него почти религиозное, благоговейное отношение, а коммунистов он считал людьми особого склада.

- Не могу я передом идти, - объяснил он раз парторгу. - Я человек сопутный. Вы, партейные, идите передом, а я уже не отстану. К немцам в лапы попадем, нам на одной осине висеть. Я не откажусь!

Он и до войны был сопутным человеком: коммунисты шли передом, он за ними. Он всегда был человек тихий, работящий, непьющий, приверженный к хозяйству и семье. И в этом - в семье и хозяйстве - был весь его интерес жизни, остальное мало касалось его. Он жил в маленьком мирке и очень был доволен тем, что этот мир мал и знаком до мелочей, и обжит, и устроен. Иного он и не хотел: жить здесь и помереть здесь, на своей постели. Читал он и газеты, интересовало его и международное: как там насчет войны? - и внутреннее: декрета нового насчет колхозов нет ли? - но большую часть того, что писалось в газетах, он пропускал мимо ушей: это нас некасаемо.

Сейчас мир, в котором физически жил Алексей Куликов, был совсем мал, куда меньше колхозного двора: блиндаж, да землянка, да сто метров ходов сообщения - вот и весь мир.

Но все, что делалось, что свершалось, что шумело за пределами этого мира, - все теперь касалось Куликова. Все непосредственно касалось его судьбы, и ко всему он жадно прислушивался. Он читал о событиях на Соломоновых островах и гадал: а что от этих островов приключится России, а стало быть, и мне, Куликову, и моей семье? Он слышал, что наши где-то жмут немцев, и думал: а что от этого приключится нашему полку, а стало быть, и мне, Куликову, и моей семье? А что, если нам нажать да подсобить!

Никогда раньше и не слыхал Алексей Куликов про такие города: Дьепп, Эссен, Бремен, а теперь каждое утро спрашивал агитатора: "Ну, как там, дали Эссену жару?"

И про такой народ не слыхал он раньше - канадцы. А сейчас следил за тем, как высаживаются они, как дерутся в пустыне. И, бывало, подолгу обсуждал он с товарищами, каковы эти канадцы лицом и характером, и какова у англичан сила, и армия английская какова, - словно соседнюю МТС.

На две половины раскололся мир. Все человечество воюет, и Куликов осознавал теперь себя солдатом той армии человечества, которая ведет правильную войну.

Он знал: эта армия победит. Он верил в победу и в дни успехов и в горькие дни неудач. На войне всякое бывает. Но твердо верил он: Россия пропасть не может! Он прожил трудную зиму и многое вынес и мог бы еще больше вынести, потому что то, что может русский солдат, никому - ни немцу, ни англичанину, ни итальянцу - не вынести.

Сейчас было тихо на участке, где Куликов. Всю весну пролежали в обороне. Бойцы шутили: "Что главное в обороне? Главное в обороне - харч". И хоть харч был хороший, все ж томился обороною Куликов, словно оборона отодвигала победу.

А от соседа с севера и от соседа с юга шли тревожные вести. Полилась кровь под Изюмом, под Барвенковом, под Керчью. Зашевелились немцы и здесь. Было видно снайперу Куликову их шевеление. В роте ждали больших боев. По ночам спали чутко.

Однажды пришел к ним "с того берега" человек, грязный, оборванный, бородатый. Увидав наших бойцов, закричал:

- Родные мои, родные! - и заплакал.

И спрашивать Куликову не надо было, понял: человек этот пришел из окружения. Значит, где-то неустойка вышла.

А человек думал, что не верит ему Куликов, принимает за шпиона. Дрожащими руками стал он шарить по телу, и откуда-то, из потаенного места, вытащил маленькую, маленькую партийную книжку. И протянул ее Куликову, словно пароль.

Ничего не было на этом человеке - ни оружия, ни часов, ни денег, ни рубахи целой, - все он бросил, а партбилет пронес. И Куликов долго вертел в руках красную книжечку, покоробившуюся от воды, почерневшую от грязи. В этот раз он ничего не сказал. А через несколько дней он пришел к политруку и сказал смущенно:

- Проситься пришел в партию.

Политрук удивленно посмотрел на него и обрадовался:

- Давно бы так! Надумал?

- Надумал.

Куликов хотел объяснить политруку, как случилось это, как думал он, думал и... а слов не было. Только и сказал:

- Больших боев жду. Мне теперь беспартейным быть негоже.

Куликова приняли в партию тут же, в блиндаже, сюда и парткомиссия приехала. В тот день все небо гремело артиллерийским громом, под этот гром его и приняли.

Но он все еще не считал себя партийным.

- Когда ж книжечку дадут? - допытывался он у политрука.

Тот объяснил, что через три дня из дивизии приедет комиссар и лично вручит ему партийную карточку.

И все эти три дня как в дыму жил Куликов. Понимал он, что будет это большой день в его жизни и большой разговор с комиссаром. Надо комиссару все высказать, объяснить, чтоб, давая билет, он не сомневался: достойному человеку дает. И все три дня Куликов подбирал слова, которые надо сказать комиссару: "Не подведу, мол? Нет. Так соседу можно сказать или бабе. А партии так сказать нельзя". И он вспоминал слова, которые от ораторов слышал. Хорошие у них бывают слова.

Вот такими бы словами сказать, необычными, не как каждый день говоришь... "Заверяю - вот как надо сказать! - Заверяю я вас, товарищ комиссар, а через вас большевистскую партию..."

В назначенный день Куликова вызвали на хутор к комиссару. Волнуясь, он пошел. Вот сейчас все произойдет: был беспартийным - стал большевиком. Ведь это как жить теперь, как драться, как вести себя, чтоб не оконфузить? Сейчас произойдет у него с комиссаром большой разговор, комиссар поглядит-поглядит и потом возьмет твою душу и на своей комиссарской ладони взвесит: чистая ли, достойная ли душа?

Но у комиссара в этот день было много народу ("Усталые у него глаза, заметил Куликов, - не спит, бедняга"), и разговор вышел недолгий, и главное - до обидного простой и задушевный, словно дома за чаем: "Ну, как живешь, как воюешь, товарищ Куликов?" - "Ничего". А Куликову хотелось слов больших и значительных. Комиссар все улыбался, глядя на него, даже раза два устало пошутил, а Куликов полагал, что улыбка тут не к месту: тут серьезное дело, жизненное. И никак не мог Куликов свою фразу сказать, ту, которую он придумал.

Потом комиссар встал, протянул ему партийную книжечку, пожал руку, поздравил, и Куликов понял, что он может идти. Он еще секунды три потоптался на месте, потом неуклюже откозырял и пошел к дверям. Но в дверях он остановился. Нет, не мог он так уйти. Он повернулся к комиссару и голосом суровым и торжественным произнес:

- Заверяю вас, товарищ комиссар, а через вас всю партию, что боец Куликов партейной книжечки не опозорит! - И это было как присяга.

Комиссар взглянул на него без улыбки, очень внимательно

(не было сейчас усталости в воспаленных зрачках), и все понял. И тогда вышел он из-за стола, подошел к Куликову, положил руку на его плечо и сказал очень тихо и просто:

- А я вам верю...

Эти слова и унес с собой Куликов.

Наутро немцы перешли в наступление. Лавиной танков и огня обрушились они на соседа, и сосед дрогнул, попятился. И тогда, чтобы спасти положение, командование бросило батальон Субботина в контратаку. Все понимали, и Куликов понимал, что вот оно, началось то, чего ждали...

Политрук дрогнувшим от волнения голосом крикнул:

- Коммунисты, вперед!

И, услышав этот клич, Куликов, по привычке, оглянулся. Вот сейчас, как всегда, подымутся Лозовой, Тихонов, Коваленко, Макаров, пойдут передом, а за ними и он.

Но тут его точно обожгло. Ведь теперь он сам, сам коммунист... Вот и партийная книжечка в заветном, специально для этого случая сшитом карманчике. Он нащупал ее.

И тогда поднялся Алексей Куликов во весь рост и зычно, так, что его по всему полю было слышно, крикнул:

- Партейные и беспартейные, за мной!

И первый бросился в огонь.

6. АЛЕКСЕЙ КУЛИКОВ ДЕРЕТСЯ НА ПЕРЕВАЛЕ

Когда-нибудь, когда будет Алексей Куликов глубоким стариком и окружат его внучата у завалинки и ласково пригреет солнце бабьего лета, - может и сумеет он рассказать спокойно и обстоятельно о лете 1942 года, о боях на Дону и Кубани, о том, как лавиной навалил враг, а наши войска дрогнули.

А сейчас не может он спокойно рассказывать об этом. Еще стоят в памяти страшные картины. И степь горит. И горький дым клубится над Ростовом, над Сальском, над Новочеркасском. И кружатся в небе, как ястребы, немецкие бомбардировщики. Бросаются на добычу. Рыщут. И бомбы падают и в степь, и на дорогу, и в Дон, и мертвые рыбы всплывают на поверхность воды, и хлеб горит, и города горят, и с грохотом рушатся элеваторы и водокачки, и нет переправ на Дону.

И мечутся по степным дорогам перепуганные отары овец. Тоскливо мычат стада. Коров доить некому, и пить надоенное некому. И льется по степи молоко, смешиваясь с дорожной пылью.

И день и ночь с отяжелевших деревьев с тяжким стуком падают яблоки. До земли пригнулись ветви, вот надломятся. Падают яблоки, и стук этот бьет в душу, стучит в висках. И какой-то старик станичник в обтрепанных шароварах с лампасами и с

георгиевскими крестами на груди выбегает на дорогу, по которой отступают войска, и кричит, размахивая клюкой:

- Стойте, куда вы, на кого оставляете!

И идут по дорогам сотни безоружных людей. Дети цепляются за мамкин подол. Восьмилетняя сирота несет на руках годовалого брата. Раненые бойцы, закрыв глаза руками, проезжают в фургонах. И сердце полно горечи. Полынь, полынь, полынь... Горько пахнет полынью степь. И пшеничный дым стелется над полями. И стук яблок, падающих, чтобы гнить.

Иные сердца дали в те дни трещину, а другие еще больше - стали скалой. Горсточка бойцов осталась вокруг Куликова: кто убит, кто не выдержал побежал. Убит политрук. Славной смертью пал он на переправе, и тело его поплыло по Дону в море, но и мертвый не разжал он железных пальцев вокруг горла немца, - так и поплыли вместе.

До самых гор докатился Куликов с товарищами. В горах гневно билась речка, и лейтенант Дубровин, командир роты, горько усмехнувшись, сказал Куликову, что про эту речку много гордых стихов и песен сложено.

- Какие песни про нас с тобой, Куликов, петь будут, раз мы так воюем? И Куликов увидел на глазах лейтенанта слезы.

И впервые в жизни подумал Куликов, что не бесследно живет на земле человек и умирает не без следа, не так, как снег сходит весной с поля. О каждом человеке останется память хорошая или дурная. Эту память хранят и горы, и камни, и реки, и люди. Когда-нибудь будут стоять на этом перевале в горах люди и вспомнят Куликова. Проклянут или прославят?

Он сказал лейтенанту:

- Что ж, товарищ лейтенант, как будет ваше решение, так и мы будем...

- Не могу я отступать больше, - с мукой в голосе сказал лейтенант и зубами заскрипел, чтоб не заплакать. - Пойми, Куликов, не могу! Не могу я уйти за горы: как буду людям в глаза смотреть? Ведь офицер я, Красной Армии офицер, и есть у меня офицерская честь. Будем стоять насмерть!

Куликов тихо ответил:

- Есть стоять насмерть!

И они остались на перевале.

Легко драться, когда за твоими плечами, как крылья, воинское счастье, военная удача. Тебя самого несет в бой. Но много сил надо, чтобы драться, когда вокруг тебя военная беда, военное горе. И ни в одной армии мира не найти солдат, умеющих стойко драться в дни больших неудач. Так только русский солдат драться может.

Вот и беспечны мы, и добродушны, и неорганизованны, но когда грянула беда и ломит враг, и торжествует, и уж победные реляции шлет, - откуда и силы берутся у русского воина, и злость, и ярость, и умение! Стиснув зубы, говорит он себе: буду стоять насмерть. И стоит. Как скала, стоит.

Есть люди, у которых много сил для жизни, а для смерти - сил мало. Неудачливый, побитый невзгодами, исковерканный человек все за жизнь цепляется, все надеется лучше жить, и надежда эта дает ему силы для жизни.

Но когда сказал себе человек: буду стоять насмерть, здесь я умру, но не двинусь - для этого куда больше сил надо. Большая сила души нужна, чтоб драться у своей могилы и знать: за горами - жизнь, но я не уйду за горы.

Когда-нибудь на этот перевал будут приходить люди, чтоб увидеть место боя. И будут показывать друг другу: вот здесь стоял пулемет лейтенанта Дубровина, вот здесь за камнем был окоп Алексея Куликова. Куликов сам отрыл его своей лопаткой. Вот здесь на камне - выбоинка, сюда положил Алексей Куликов свою шрамоватую снайперскую винтовку и бил немцев. Вот здесь истек кровью Митрофан Лозовой, парторг. Вот могила Николая Руденко. Снимите шапки! Он был мальчик и умер как воин.

Вот по этой тропинке ползли немцы.

- Сдавайтесь! - кричали они, а Дубровин и Куликов отвечали им смехом и пулями. И горное эхо многократно повторяло их смех, словно сами горы смеялись над немцами. И сыпались на врага пули, гранаты и камни, словно сами горы дрались за себя.

Кровь окрасила мшистые камни. Поэты сочинят легенду: отчего черны камни в горах? От поганой вражеской крови. А вот камень с розовыми и красными прожилками - это в нем кровь Куликова.

Смотрите на этот камень. На нем следы пуль. Смотрите на эту землю. Она впитала кровь и расцвела чудесными цветами. Смотрите на эти вольные горы. За них дрался пензенский колхозник Алексей Куликов с товарищами.

Они дрались так, словно этот перевал был последним клочком русской земли, а они с лейтенантом Дубровиным - последними русскими воинами.

- Сдавайтесь! - кричали им немцы, а они отвечали смехом. И, умирая, немцы так и не могли понять, почему упорствуют эти двое русских. Не дано фашистам понять величие русской души.

Что там, за горами - того не знал Алексей Куликов. Может, там и войска нашего нет, может, в самом деле мы окружены и всему конец? Но он сказал себе: буду стоять насмерть, и стоял. Нет, не может пропасть Россия, будем жить на вольной русской

земле!

Так держались они день и ночь, а к утру откуда-то пришла рота и сменила их. И тогда почувствовал Куликов, что весь он изранен, и окровавлен, и смертельно устал. Он повис на руках санитара, беспомощный, как ребенок, слабый и телом и духом... И его повезли за горы.

Его повезли на машине по большому прекрасному шоссе, оно само бежало под шинами, ластилось к резине. Вдоль шоссе стояли диковинные деревья, каких никогда и не видал Куликов, а только слышал: кипарисы, пальмы, чинары... Но он не глядел на них и недолго им удивлялся. Он глядел на дорогу: по ней шли на фронт войска. Шли свежие полки с золотистыми автоматами и зелеными пулеметами, а за ними ползли и короткие и длинные пушки, и минометы, похожие на граммофоны, и закрытые серым брезентом "катюши". Шли русские танки, новенькие, еще краска на них не облупилась; шли американские автомобили, лакированные до блеска. Шли горные стрелки в широкополых шляпах со звездами. Шла конница в мохнатых бурках. Шли азербайджанцы, грузины, русские - может, пензенцы...

Куликов жадно всматривался в машины и в лица. Уж и ран своих он не чувствовал, словно их смазали целебной мазью. "Ага! - кричало все в нем. Что же я-то говорил? Нет числа нашей силе, и никто нас покорить не может!"

И тогда сорвал он со лба кровавую повязку, чтоб не мешала видеть дорогу, и, размахивая ею, закричал проходившим мимо войскам:

- Эй! Ребята! Земляки! Счастливый путь! Дерись, как мы на перевале дрались. Не поддавайся! Бей фашиста! Его свободно можно бить. А я, ребята, скоро вернусь. Средний ремонт пройду и вернусь. До скорого!..

...А зовут его Алексей Куликов, и родом он - пензенский, сейчас служит старшим сержантом в батальоне капитана Рубакина, - тут его знают все.

1942